

Глава 13. Трудная любовь моя

Погруженный в невеселые мысли, продолжал я свой путь на Головной лагпункт. За спиной недовольный конвоир откровенно тянул время. Шел не спеша, то и дело присаживался покурить. В результате восемь километров, отделявших Штабную от Головной, мы шли почти три часа. Казалось, дороге не будет конца. Сосны, ели, покрытые снегом прогалины и снова сосны. Но вот в просвете просеки мелькнули сторожевые вышки и частокол зоны. Мелькнули и исчезли. Дорога снова ушла в лес, но ненадолго. Вскоре появились огороженные длинными жердями и покрытые грязным подтаявшим снегом огороды. Потом лесопилка, хоздвор. Постепенно дорога выпрямилась и вошла в посёлок вольнонаёмных. По правой её стороне несколько сложенных из сосновых брёвен и крытых финской стружкой двухквартирных домиков. По-сибирски маленькие окна, занавесочки, цветочки. Ещё один крутой поворот и вот, наконец, вахта Головного лагпункта.

В зоне меня встретил Лёня и сразу повёл к начальству. Представлял как ревизора, и это меня очень смущало. Слишком не вязалась эта должность с моим возрастом, одеждой и положением заключённого. Некоторую солидность придавала телефонограмма Фаерштейна, которую с сомнением на лице рассматривал начальник лагпункта.

Выполнив все формальности, пошли в барак АТП, в котором жил Лёня. Барак в это время был пуст, и мы с Лёней смогли спокойно обсудить план действий на время моей командировки. Ситуация оказалась сложнее, чем она представлялась Якову Яковлевичу. Нарушения в оформлении приёмо-сдаточных документов, подчистки, приписки, фиктивные акты на списание нестандартной древесины. Всё это пахло скандалом, который мог обернуться против нас же, так как вина работников сплавной конторы в период руководства ею Зуевым была несомненной.

С Ниной Терещенко вопрос, на мой взгляд, решался проще. Её следовало направить в больницу Штабного лагпункта, главный врач которой был дружен с Яковом Яковлевичем. Однако Лёне этот вариант не очень нравился. Он жаждал открытой борьбы с Калиновским и Руди и не хотел расставаться с Ниной.

По воле случая оказалось, что в этот день, после ужина, должна была выступить приехавшая накануне на Головную центральная олповская культбригада, а, следовательно, и Маниковская. Для меня это было полной неожиданностью и резко изменило ход мыслей. Нинель всё ещё сильно волновала меня. Возникли

сомнения - идти или не идти на концерт. Их разрешил Лёня, объявив:

– Там я тебя познакомлю с ней!

При этом голос его дрогнул. Чувствовалось, что он стесняется. Стесняется своего увлечения, далеко не юношеского возраста и того, что вынужден искать помощи у меня, которому недавно сам покровительствовал.

Когда мы пришли в столовую, ближние ряды, за исключением самого первого, предназначенного начальству, были уже заняты. Устроились где-то на средних рядах. Лёня, покрутив головой и найдя свою Нину, обращаясь ко мне, сказал:

– Вон в пятом ряду, третья справа.

Я приподнялся и на указанном месте увидел голову, покрытую платком, под которым были отчётливо видны бугорки от закрученных на бумажки волос – прообраз наших бигуди.

– Ну и что, ты нас познакомишь? – спросил я.

– Конечно, – ответил он. Поднялся и, перекрывая стоящий в столовой гул, крикнул:

– Терещенко!

Она поднялась, обернулась и, отыскав глазами Леню, подошла. Стройная девушка, в отороченной мехом безрукавке. Большие, с восточным разрезом серые глаза, крупный выразительный рот. Из-под платка выглядывает локон модной тогда укладки и краешек приколки.

Состоялось краткое знакомство, после которого Лёня вполголоса стал убеждать Нину в необходимости утром выйти на работу.

– Но ведь Вы разрешили нам с Ольгой завтра остаться в зоне. Надо же нам когда-то постираться, да и Вашу рубашку постирать, – пыталась протестовать Нина.

Но Лёня был непреклонен. Неодобрительно взглянув в мою сторону, она вернулась на своё место. Мы с Лёней молчали. Я чувствовал себя крайне неловко. Всё началось не так, как я себе представлял. Лёня тоже был расстроен. Наверное, не ожидал такой реакции с её стороны да ещё при мне.

Наконец, появилось начальство с жёнами, детьми. Концерт начался. Но мысли были далеко, и я бы с удовольствием ушёл, если бы не предстоящее выступление Маниковской. После концерта, на котором она спела какой-то романс и прочла не понравившиеся мне стихи, мы с Лёней вернулись в барак. Ему явно хотелось узнать моё мнение. Но мысли мои были заняты Маниковской, и было мне совсем не до его Нины, да и что, собственно, мог

я сказать при краткости нашей встречи. Неверно истолковав моё настроение, Лёня обиженно замолчал.

Утром развод. Большое, человек на триста, оцепление. Ведут в рабочую зону. Можно немного поговорить, разумеется, вполголоса, не раздражая охрану. Но разговор не клеится. Расстроенный вчерашней размолвкой с Ниной, Лёня угрюмо молчит. Я тоже не склонен к разговорам, тем более что утром, когда шёл на развод, заметил Нину, выходящую из кабинки нарядчика. Возможно, я ошибся, и это была не она, ведь было ещё недостаточно светло, да и видел я её до этого только один раз, притом мимолётно. Но если это была она, то это многое меняло. Во всяком случае, я тогда твёрдо решил о случившемся ничего не говорить Лёне. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, достал из кармана бушлата маленький томик со стихами и, подстраиваясь под общий ритм шагов, начал перечитывать «Письма прекрасной Даме». Надеялся, что и на этот раз они снимут напряжение, успокоят. Но этого не произошло. Вместо того чтобы наслаждаться прекрасными стихами, я снова и снова мысленно обращался к знакомым мне девушкам. Ни одна из них даже близко не соответствовала созданному Блоком образу: ни Рита Конюхова, ни Неля Сорока, ни Нинель Маниковская. А ведь каждая из них чем-то нравилась мне, что-то в каждой из них волновало и влекло меня. Может быть, просто пришла пора любви?

Наверное, в окружении Блока женщины, подобные Прекрасной Даме, были. Мне же они не встречались даже во сне, и от этого написанные им стихи казались мне слишком абстрактными, напоминая коллекцию хрупких, высушенных бабочек. Время пощадило изумительный рисунок, сплетение загадочных линий и красок, но лишило трепета жизни. Да и сам образ Прекрасной Дамы вызывал теперь у меня серьёзные сомнения. О таких женщинах можно было мечтать, с ними, наверное, интересно было говорить, но они мало подходили для длительной и трудной семейной жизни. Медленно, но неуклонно все эти годы преодолевал я юношеский гипноз блоковской Незнакомки.

Прочтя «Яму» Куприна и повзрослев, я с большим, чем прежде вниманием стал относиться к плотскому началу. Поднявшиеся из глубин психики эротические представления стали все чаще овладевать мною. Теперь даже пятнадцатилетний подросток разбирается в этой области гораздо лучше, чем я тогда в свои почти двадцать пять лет. В этой части коммунистическая мораль, хотя и покоившаяся на материалистических принципах, была не менее аскетической, чем католическая, и моё юношеское отношение к

женщине. О проблемах эротики не только не писали в книгах, о них было стыдно говорить и даже думать. Мой детский католицизм без особой деформации перешёл и закрепился в принципах коммунистической морали. И теперь, просвещённый авторами когда-то запретных в нашей семье книг, разговорами с Маниковской и собственными наблюдениями, я довольно болезненно переживал крушение старых идеалов и формирование нового отношения к женщине. Погруженный в эти мысли, шагал я по чёрной разбитой дороге, не замечая грязную брань охранников и лай собак.

Колонна двигалась редким лесочком. Березки, осинки, кустарник. Ветви голые, без листьев. Даже почек ещё не видно. Пересекли русло какого-то ручья. Под ногами, хрустя льдинками, чавкала сырая, смешанная с прошлогодней листвой и выпавшим под утро снегом, земля. Потом березки исчезли, перешли в густые заросли осин. Это гиблое место, удобное, по мнению охраны, для побега, преодолевали почти бегом, подгоняемые криками и грязной бранью конвоя, щёлканьем затворов и лаем собак. После небольшого подъёма колонна, нарушив строй, столпилась у проходной. Более получаса ждали, когда охранники займут свои места на сторожевых вышках и простучат по рельсам готовность рабочей зоны к приёму заключённых. Наконец, миновав пропускной пост, вместе с другими заключёнными, не спеша расходящимися по своим рабочим местам (железнодорожным платформам, штабелям, ремонтным мастерским), мы с Лёней направились в сплавную контору. Небольшой, крытый тёсом домик. Две комнаты и кладовая для документов. Мне Лёня выделил свой кабинет: одно небольшое окно, длинный, на крестовинах, дощатый стол, две скамьи. На столе чернильница и пачка спецификаций. Сюда мне доставляли стопы документов с закладками в нужных местах. Документы носила Нина. На ней белая кофточка с каким-то замысловатым воротничком и строгая, ниже колен, юбка. На вопросы отвечает односложно, даже сердито, а в глазах - тоска.

Приближался обед. Девушки начали жарить картошку, добытую, скорее всего, у вольнонаемных бракеров. Я же, не зная, пригласят ли меня к обеду, чтобы не мучиться её дразнящим запахом, ушёл на берег Камы к одинокой, грустной берёзе с уродливо изогнутым стволом. Как я заметил, один из изгибов был удобен для сидения. Устроившись, достал книжку. Но читалось плохо. Все мысли были о Маниковской и Нине.

– Неужели это всё-таки была она? И почему тогда, как рассказывал Лёня, тяготилась вниманием, которое оказывал ей Давид Андреевич? Что-то здесь было не так. Чтобы судить, надо знать

все обстоятельства дела. Я их не знал, и вообще в лагере всё было так запутано. Столько насилия и несправедливости – мысленно оправдывал я Нину.

А в это время в конторе Лёня уговаривал Нину сходить и позвать меня обедать. Она возмущалась:

– А почему опять я? Пусть кто-нибудь другой или хотя бы Вы сами. И вообще, он мне совсем не нравится.

– Почему это? – поинтересовался Лёня.

– Какой-то воображала. Идёт в оцеплении, кругом конвой, собаки, а он читает. И сейчас тоже уселся на дереве с книгой. Учёным притворяется.

– Он не притворяется. Он вообще много читает, зато не курит и не пьёт. А еще он любит математику и знает много стихов, – не совсем логично защищал меня Лёня.

Нина, примирившись с необходимостью идти за мной, всё ещё ворчит:

– И ботинки какие-то огромные надел!

– Ну, в этом он совсем не виноват, просто ноги большие, – начиная злиться, парировал Лёня.

– Да ещё жёлтые, – не обращая внимания на Лёнино раздражение, продолжала Нина.

– Ноги? – удивился Лёня.

– Нет, ботинки. И вообще он противный. И не защищайте его, – продолжала Нина.

– Да почему же?

– Потому что!

Позже я узнал, что это «потому что» - её любимая присказка.

Обед прошёл молча. Чувствуя на себе её явно враждебный взгляд, я растерялся и примолк. Но после обеда что-то произошло, атмосфера разрядилась. Наверное, почувствовала, что у меня есть свои нелёгкие проблемы. И, наконец, совсем уж неожиданно для меня, прозвучало:

- Почитайте стихи. Алексей Николаевич говорит, что Вы их много знаете.

Я, естественно, согласился. Сначала, как обычно, Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Потом Блок, Есенин, Байрон.

Мы сидели за длинным Лёниным столом с разбросанными по нему папками документов. В небольшое запylённое окно падал сумрачный свет. Нина, облокотившись на стол и, положив голову на раскрытые ладони, внимательно слушала, не выражая особых эмоций. Лёня же был явно недоволен, считая, что я занимаюсь совсем не тем, чем нужно.

Вскоре его вызвали по какому-то срочному делу. Мы остались одни. Незаметно перешли на темы нашей лагерной жизни. Я, как обычно, разоткровенничался и рассказал о своих отношениях с Нелей и Маниковской. Больше говорил о Неле, наверное, потому, что с ней мои отношения были чище. Потом немного о своём детстве, юности.

Она была молчалива, настороженна. Больше слушала. Нехотя, только отвечая на прямые вопросы, кое-что рассказала о своих детских и юношеских годах, особо подчёркивая при этом своё крестьянское происхождение. Несколько оживилась, повествуя об участии в партизанском отряде и обстоятельствах ареста. Во всех своих бедах винила одного Малых, с порога отвергая любые намёки на порочность строя. Вначале я думал, что она просто боится при постороннем человеке касаться политических вопросов, но вскоре понял, что таков уровень её понимания происходящего. Дитя своего времени, принципиальная комсомолка, душой и телом преданная советскому строю и кремлёвским вождям, она, как мне тогда казалось, так ничего и не поняла. Нинель в этом отношении была мне ближе и понятнее.

Зато во всём, что касалось взаимоотношения людей, она была, по крайней мере, в разговоре со мной, гораздо сдержаннее и целомудреннее. Однако её явное нежелание касаться лагерного периода своей жизни настораживало.

Вообще душа её для меня оказалась наглухо закрытой. Ни щелочки. Чувствовалось, что её мысли и чувства заняты совсем другими проблемами. Делиться ими в этот первый день нашего знакомства она не захотела.

Два последующих дня мало что изменили в моём понимании её внутреннего мира. Пробриться к её душе сквозь паутину разговоров никак не удавалось, хотя внешне наши отношения стали почти товарищескими. Что-то мучило её. Что-то очень для неё важное, что лишало её интереса к жизни и всему происходящему вокруг. На мой вопрос, чем бы мы с Лёней могли ей помочь, она ответила:

– Мне помочь невозможно!

По возвращении на Штабную с помощью Якова Яковлевича договорился о направлении Нины в олповскую больницу. Она действительно была больна: сильнейшее нервное истощение, авитаминоз, субфебрильная температура. Теперь у меня появилась новая забота. Почти ежедневно после работы навещал Нину, интересовался самочувствием, настроением. Носил ей книги. Иногда, если удавалось достать, что-нибудь вкусное. И обязательно

привет или записку от Лёни, даже тогда, когда их на самом деле не было.

Вскоре очередным этапом с Головного лагпункта на Штабной была направлена Ольга Бутенко. Её за связь с Калиновским должны были отправить за пределы Кушмангортского ОЛПа. Калиновский не смог, а может быть, не захотел этому воспрепятствовать. У него возникали постоянные конфликты с командиром ВОХР Головного лагпункта Башкирцевым. Непосредственно Калиновскому тот повредить не мог и отыгрался на Ольге. По просьбе Нины, ведь это была её ближайшая подруга, действуя через Ивана Макаренко, добился, чтобы Ольгу оставили на Штабном.

Через месяц Нину выписали из больницы с условием использования на лёгкой работе при сокращенном рабочем дне. По моей просьбе Яков Яковлевич оформил её в бухгалтерию, на материальную группу. Позже её перевели к нам на картотеку производственных счетов. Её стол стоял вплотную к нашим с Иваном столам(и) в левом, если смотреть со стороны входной двери, углу бухгалтерии.

Жила она теперь в женской секции барака АТП. Секция напоминала процедурный кабинет поликлиники. Одеждами и простынями, подвешенными к крестовинам вагонок, женщины соорудили нечто вроде небольших кабинок-купе. В каждой такой кабинке две постели - нижние места двух соседних вагонок с тумбочкой между ними. На тумбочках салфетки, туалетные принадлежности. На стене, над тумбочками, вырезанные из журналов картинки, иногда фотографии. Надзиратели периодически разрушали «цыганские», как они выражались, шатры, сдирая повешенные одеяла, но они неизбежно появлялись снова. Тяга к домашнему уюту и возможности уединения была сильнее надзирательских угроз и возможных наказаний. На середине секции длинный дощатый стол, тщательно выскобленный. С двух его сторон такие же длинные скамьи. В бараке всегда чисто и в рамках лагерных возможностей достаточно уютно.

В одной из таких кабинок-шатров размещались Нина с Ольгой. Оля мыла полы в кабинете начальника Штабной Жижина и бухгалтерии. Всё время ощущала поддержку Калиновского. Периодически, чаще чем мне этого хотелось, на Штабную, якобы по делам УРЧ, приходил Руди. Останавливался у Феди Лютцева, что усиливало моё отрицательное отношение к нему. Естественно, что в такие приходы он все вечера проводил у Нины. Приносил ей с Ольгой гостинцы. От себя и Калиновского. В эти дни на их тумбочке, а иногда и на Нинином конторском столе появлялись цветы. Меня это особенно раздражало, так что вначале она даже думала, что я вообще не люблю цветы.



Кушмангорт, лагпункт «Головной». 1947 год.

Часть сотрудников бухгалтерии ОЛПа. Все заключённые.

Я в центре фотографии. Рядом со мной в военной гимнастёрке главный бухгалтер Вебер Яков Яковлевич. Слева от него - Гайдаенко Аркадий Федосеевич. Справа от меня, в белой рубашке, – Федосеев Василий Васильевич. Перед ним в первом ряду, крайняя справа, - Нина

Любовь в лагере, если и возникала, то чаще всего вспыхивала и сгорала как метеорит. Наши с Ниной отношения развивались по лагерным меркам очень медленно. Шли дни, недели, месяцы.

Кончилась весна, наступило короткое северное лето. Нина, как мне казалось, полностью поправилась, посвежела, стала чаще улыбаться, шутить. Работала она теперь полный день. Первое время необходимость заботиться о ней меня немного тяготила, но постепенно превратилась в привычку. Я делился с ней своими проблемами и переживаниями, рассказывал о развитии отношений с Нелей и Маниковской. Она же обсуждать со мной свои дела не хотела. Для этого у неё была Оля. По вечерам, провожая её с работы до барака, а засиживались мы часто допоздна, при расставании целовал в лоб. Мне казалось, что это отеческий поцелуй. Она же считала, что так целуют только покойников, но мне об этом ничего не говорила, терпела.

Всё это время я старался играть роль Лёниного доверенного лица. Часто завязывал разговоры о нём. Но Нина их не поддерживала, а однажды сказала:

– Что это Вы всё об Алексее Николаевиче? Мы же с ним были знакомы всего три-четыре месяца и только по работе, а теперь у него уже есть подруга - медсестра из посёлка.

Для меня это было полной неожиданностью. Лёня мне об этом ничего не говорил, хотя последнее время действительно почти перестал интересоваться Ниниными делами.

– Кто это тебе сказал?

– Калиновский Ольге, а он обманывать не будет.

– Но ведь вы даже целовались, Лёня мне сам об этом говорил, а он меня тоже никогда не обманывал.

– Мы с ним целовались? Да никогда этого не было. Хотя! Пару раз в щёку он меня целовал, как ты в лоб.

Этот переход на «ты» не остался мною незамеченным.

Конечно, отъезд Нины с Головной в какой-то степени развязал Лёне руки в борьбе с Калиновским, чем он, как мне было известно, с успехом воспользовался. В своих же чувствах к Нине он, наверное, зашел не очень далеко. Пара поцелуев, о которых он когда-то говорил мне, наверное, не оставили в его душе заметного следа. Этими рассуждениями я в какой-то степени успокаивал свою совесть. Ибо мне всё труднее было выполнять принятую на себя роль покровителя. По мере моего сближения с Ниной наши с ним отношения охладели. Через полтора года он освободился и действительно женился на вольнонаёмной поселковой медсестре. Вскоре они уехали на Украину.

Наши же отношения с Ниной развивались, постепенно вытесняя у меня мысли о Неле и Маниковской. Хорошо помню день, когда у неё испортился арифмометр. Она принесла его в кабинет

Вебера, который в эти дни, в связи с отъездом Якова Яковлевича в Соликамск, занимал я.

– Что же теперь делать? – спросила она, поставив арифмометр передо мной на стол. Покрутив его и так и сяк, я, вооружившись плоскогубцами и отверткой, развинтил всё, что только было возможно, вытащил ось, после чего всё содержимое «Феликса» рассыпалось на колёсики и шестерёнки. Нина испуганно:

– Ну, теперь всё, его уже не починить.

– Обязательно починю, – возразил я самоуверенно.

– Нет, это же невозможно, – настаивала Нина.

Я предложил пари: если арифмометр починю, то её поцелую.

Даже сейчас удивляюсь, с каким упорством собирал я этот «Феликс». И вот заслуженный мною поцелуй. Поцелуй в самые губы. Приложил все силы, чтобы этот эпизод выглядел шуткой, но для Нины он, по-видимому, не прошёл незамеченным. Во всяком случае с тех пор она перестала поддерживать мои разговоры о Неле и Нинель.

Вскоре вмешалась Ольга, обвинившая меня в том, что я веду нечестную игру с Ниной: без любви морочу ей голову. Просила и требовала, чтобы я либо прекратил своё ухаживание, либо придал нашим отношениям более определённую форму.

– Ты, наверное, знаешь, что Нина уже два месяца избегает встреч с Давидом Андреевичем и не принимает от него никакой помощи? – спрашивала она.

– Нет, не знаю. Только вижу, что он то и дело появляется на Штабной. Если Нина не может жить без него, пусть скажет, я помогу её возвращению на Головную. Пусть там милуется с ним.

– Дурак ты! – возмутилась Ольга. – Никогда между ними ничего не было и тем более нет сейчас. И вообще Давид Андреевич очень порядочный и серьёзный человек. Не то, что ты. Запутался в своих трёх «Н» и морочишь им головы.

Нина, узнав про наш разговор, очень расстроилась и стала проситься обратно в материальную группу. Мы поссорились, перестали разговаривать. Прекратились мои вечерние проводы и отеческие поцелуи. И тогда я почувствовал, как мне не хватает общения с нею, её улыбки. Уже больше недели она сидела рядом, за соседним столом, что-то записывала в свои карточки, отвечала на касающиеся работы вопросы, но лицо её оставалось печальным и рассеянным. Я не выдержал и написал ей записку:

Когда смотрю я на твою улыбку,
Мне кажется, что сквозь разрывы туч

Мне снова солнце радостно смеётся,
Роняя в сердце тёплый, нежный луч.

P.S. Прошу, улыбнись мне!

Она прочла, улыбнулась какой-то жалкой, страдальческой улыбкой. Уголки её губ задрожали, на глаза навернулись слезы, и она выбежала из бухгалтерии. Примирение шло долго и трудно. Наверное, потому что никто из нас ничего не обещал другому, оба были совершенно свободны в своих чувствах и в то же время ревновали: она меня – к Неле и Маниковской, я её – к Давиду. Ревновали, но не могли в резких, облегчающих душу словах высказать свои обиды и примириться.

В начале августа пришло письмо от Ляли. Голубой прямоугольник, склеенный из обложки ученической тетради и вскрытый цензором по верхнему краю. Принёс его дневальный в обеденный перерыв, прямо в бухгалтерию. Было это совсем необычно и настораживало. Тревожно сжалось сердце.

Отвернувшись к окну, чтобы не видели выражения лица, вынул сложенные вдвойне и исписанные чётким Лялиным почерком листки ученической тетради. Бросились в глаза несколько тщательно вычеркнутых цензором строк. В правом верхнем углу дата: 10 мая 1946 года. Тоже странно: раньше Ляля, в отличие от Эрочки, письма свои не датировала. Затем несколько ничего не значащих фраз. Мелькнула мысль: может быть, тревожусь напрасно. Но нет, вот оно:

– Дорогой мой братишка, – писала Ляля, – случилось неправимое: 6 мая скончалась наша мамочка.

Дальше шли подробности, но я их не читал, не мог читать, снова и снова перечитывал эти две строки.

За окном ярко светило солнце, а мне казалось, что наступила ночь. Всё! Ничего нельзя поправить, ничего нельзя изменить. Мамины слова о том, что здесь, в земной жизни, нам больше уже не суждено встретиться, сказанные ею при моём аресте, оказались пророческими. Впервые в жизни почувствовал боль в сердце. Наверное, застонал, потому что Нина тревожно спросила: что случилось? Я не ответил. Было мне совсем не до разговоров. Слезы застилали глаза, спазмом перехватило горло.

Сколько прошло времени - не знаю. Наконец, немного успокоившись, смог продолжить чтение. Ляля писала, что болела мамочка всего несколько дней, какой-то туляремией. Была высокая температура. Теряла сознание, в бреду металась и звала меня. Пробуждаясь, спрашивала, не пришло ли письмо от меня. Не дожда-

лась. Письмо пришло через два дня после её смерти. Простить себе это было трудно. Ведь теперь, в Кушмангорте, у меня была возможность посылать письма хоть каждую неделю. Но я этого не сделал. На общение с родными, как это часто и у многих бывает, у меня постоянно не хватало времени. Считал, что они поймут, простят, подождут. Но смерть не подождала, не пощадила. Сколько раз в течение этих четырёх лагерных лет, обращаясь мысленно к матери, успокаивал себя, что когда-нибудь, после освобождения, если, конечно, выживу, буду заботиться и ухаживать за нею. Сделаю её старость тихой и спокойной. Вспомнилось, как в детстве, когда мы ещё жили в Тамбове у «Горбуна», я мечтал выучиться на инженера, построить радиостанцию, дом, дачу, вырастить сад, возместив своей мамочке всё, что она утратила после смерти папы. Оказывается, не суждено мне было воплотить эту мечту в реальность хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть. Мысли метались, рисуя в воображении картины её трудной, безрадостной жизни.

Но какой бы мрачной она мне не представлялась, действительность была хуже. После моего ареста мама продала нашу часть дома. Одну треть вырученных денег отдала Эрночке, другую - Ляле, а на третью купила несколько золотых монет для меня и зашила их в подкладку своей старой, ещё дореволюционной сумочки. Там же у неё хранилась наша с Лялей детская фотография: я гладко причёсанный в галстуке, а Ляля с огромным бантом на голове.

Вскоре Эрночка с Лизой, Адюшей и Гольди уехала к Петиному отцу и сестрам в какую-то глухую, богом забытую деревню Сарабалык Новосибирской области. Мама же переехала в Пады, где учительствовала Ляля. Первое время Ляля с детьми и мама жили у матери Игорька. Но вскоре Софья Владимировна, недолюбливавшая мамочку и считавшая её, как немку, виновной в гибели на фронте двух своих сыновей, Олега и Славы, не желала видеть её в своём доме. Ляля плакала, а мама несколько раз ездила в Тамбов, пытаясь найти приют у кого-либо из знакомых. В одну из таких поездок у неё вырвали из рук её старенькую сумочку вместе с монетами и фотокарточкой. Это окончательно сломило её. Жизнь для мамы потеряла смысл. В конце концов, Ляля устроила её у знакомых стариков в Падах и на оставшиеся у мамы деньги купила ей козу. Пока было лето, мама её пасла, доила и молоком рассчитывалась за жильё. Но пришла зима, корма не было, и коза околела. И осталась мамочка совсем без средств к существованию. Старенькая, беззащитная, не умеющая и не желающая постоять за себя, никогда никому не сказавшая ни одного обидного

слова, она под конец жизни осталась совсем одинокой, без средств существования, без цели и надежды. Ляля потихоньку от свекрови поддерживала маму, но возможности её были очень ограничены. Похоронили мамочку на кладбище в Падах. Помню, как, приехав к Ляле после освобождения, я стоял у холмика, над которым возвышался потемневший от непогоды деревянный крест. Горькие слёзы раскаяния жгли мне щёки. Но ничего уже поправить было нельзя.

Шли дни, недели. Боль постепенно стихала, рана затягивалась. Повседневные заботы и волнения, как песок, слой за слоем заносили прошлое. Наши отношения с Ниной, проявившей в эти тяжёлые для меня дни и заботу, и такт, стали мягче, душевнее. Щадя её, в разговорах старался не упоминать ни о Неле, ни о Манниковской. И всё-таки сначала одна, затем другая, скорее всего не желая этого, ухитрились испортить с трудом налаженные отношения.

Так, однажды, уже в конце лета, позвонила Неля и таинственным голосом сообщила:

– Сейчас мы с подружкой придём в бухгалтерию. У меня в петличке жакета будет гвоздичка, – и повесила трубку.

Сказать Нине о предстоящем визите не решился. Думал, не заметит. Ведь не подойдёт же Неля ко мне. Но вышло всё не так, как я предполагал.

Когда открылась дверь и две девушки вошли к нам в бухгалтерию, я, ещё не разглядев цветка, догадался, которая из них Неля. Невысокого роста, хорошо сложенная, тёмные курчавые волосы, круглое личико, карие глаза. Метнув взгляд в мою сторону, обратилась к сидящему около двери Федосееву. От её мягкого, ласкающего голоса я вздрогнул и начал непроизвольно краснеть. Лицо, уши, шея медленно и неодолимо наливались краской. Я ненавидел себя, но ничего поделать не мог. Нина, сидевшая спиной к двери, увидев, как я краснею, спросила:

- Это Неля, да?

Удивляясь её интуиции, кивнул головой и отвернулся к окну. Почему я так покраснел? В чём и перед кем был виноват? Ни перед Ниной же. Я ведь ей всё рассказывал, ничего не скрывал, ничего не обещал. Перед Нелей я тоже не чувствовал никакой вины. И ей я ничего не обещал и не мог обещать. Более того, наши разговоры по телефону прекратились вскоре после появления на Штабном Нины. Совершенно нелепая ситуация, но объяснить её Нине я не смог, и у неё на душе надолго остался неприятный осадок.

С Маниковской получилось ещё хуже. Примерно в середине октября во время пребывания культбригады на Штабной она зашла в нашу с Яковом Яковлевичем кабинку и попросила дать ей мой китель для вечернего выступления. Откуда он у меня появился - не помню. Обещала его вернуть рано утром, сразу после подъёма, так как потом, по её словам, культбригада должна была отбыть на лагпункт Трактовый.

Мне очень хотелось с ней поговорить, и я не стал возражать, тем более что Якова Яковлевича на Штабной не было, а Нина никогда раньше утром до работы к нам не заходила. Естественно, что и на этот раз о предстоящем визите я ей ничего не сказал.

Утром, как только прозвенел первый удар по рельсу, я вскочил, умылся, причесался, застелил постель, оделся, сел на табуретку и, приняв непринуждённую позу, стал с нетерпением ждать. Вскоре раздался тихий стук. Я с радостной готовностью:

– Да, входите.

Открылась дверь, и вошла Нина ... Я замер, не зная, что думать, а главное, что говорить.

– Куда это ты так рано собрался? – спросила Нина.

Пока я лихорадочно соображал, как же теперь быть, снова раздался стук в дверь. И я снова произнёс те же слова:

– Да, входите, – однако теперь в голосе моём тоска и обречённость. Вошла Маниковская с кителем в руках. Общее замешательство. Холодные приветствия. Наконец, поблагодарив за оказанную ей услугу, Нинель ушла. Мы с Ниной остались вдвоём. Робкая попытка объясниться неожиданно перешла в объяснение в любви. Наконец-то такое трудное для меня слово «люблю» я произнёс. И здесь бы остановиться, но не смог. В запале дал понять, как меня мучают её встречи с Руди. Теперь настал её черёд оправдываться. Уверяла, что никогда физической близости между ними не было, что Давид Андреевич просто очень хороший человек, что прекратить его посещения она не может. Я слушал, кивал головой, а сам думал про то утро, когда она выходила из его кабинки. Спросить её об этом не решился. Боялся убедиться в обмане.

Вообще мои чувства к Нине с первых дней были густо замешаны на ревности. Ревности к Давиду, Лёне, всему её лагерному и не только лагерному прошлому, в котором, как я подозревал, были и другие мужчины. То, что я испытывал к ней, существенно отличалось от того, что привлекало меня в Маниковской. Если в общении с последней меня тянуло на споры, на обсуждение политических, нравственных и эстетических проблем, и я в этих спорах час-

тенько забывал, что моим собеседником была женщина, то в Нине меня привлекало именно женское начало. Она не увлекалась поэзией, классической музыкой. Философские, эстетические и этические проблемы её совсем не волновали. Политических разговоров откровенно избегала. То ли боялась, то ли не хотела вступать в неизбежные в этом случае споры со мной. Зато была мягкой, ласковой, уступчивой и очень чувствительной к чужой беде и страданиям. С ней я мог говорить о своих слабостях, не боясь насмешек. И мне не нужно было, как при общении с Маниковской, притворяться сильным, мужественным и более умным, чем был на самом деле.

С Ниной можно было расслабиться, с ней было спокойно и уютно, если не считать ноющей боли ревности. Что-то домашнее, семейное исходило от неё. Позже я понял, что оценки эти в какой-то мере были не совсем верны. Характер у неё оказался более твёрдым, чем мне тогда казалось, она много и с увлечением читала, легко впитывала то, что писалось в любимых мною книгах, а её эстетические чувства были достаточно развиты.

Мы помирились. Всё было хорошо. По вечерам, когда Оля мыла полы в кабинете Жижина, а Нина ей помогала, я приходил, чтобы проводить их до барака. Там, в узком коридорчике, ведущем к кабинету, мы с ней подолгу стояли, прижавшись друг к другу, и поцелуи наши были настоящими, жаркими, и дрожь охватывала тело.

Наше тихое счастье было нарушено письмом Давида, которое Нина получила в ноябре. Написанное корявыми буквами с многочисленными орфографическими ошибками (он плохо владел русским языком), оно было проникнуто таким зарядом любви и нежности, столько было в нём тоски и горя, что я растерялся. Нина, сама настоявшая на том, чтобы я его прочёл, тихо плакала.

Как мы поняли из письма, Давида, в соответствии с чьим-то распоряжением, чьим - он не знал, лишили возможности посещать Штабную и видаться с Ниной. Позже я выяснил, что это сделал Иван по просьбе Якова Яковлевича, которому надоело, как он выразился, смотреть на мои переживания.

– Сколько можно мучиться самому и мучить Нину, – укорял он меня. – Надо на что-то решиться. Ведь ты не Тургенев, а Нина не Виардо и вы не в Париже, а в самом, что ни есть настоящем лагере. Здесь любовь надо делать быстро и главным образом в постели. А так дождётесь, что вас разгонят по разным командировкам.

Как бы там ни было, по моему настоянию запрет был снят, и вскоре Давид Андреевич снова появился на Штабном. Как сейчас

помню, приходит в бухгалтерию дневальный парикмахерской и передаёт Нине записку от Давида. В ней мольба придти в парикмахерскую и угроза в противном случае перерезать себе бритвой то ли вены, то ли горло.

Нина, напуганная угрозой, порывается бежать, уговорить, успокоить. Я не пускаю. Дневальный появляется снова и снова. Рассказывает, что Давид выпил спирт, сильно опьянел, что в руках у него бритва, которой парикмахер обычно брил начальника ОЛПа, что никого к себе не подпускает и только стонет: Нина, Нина, Нина. Вскоре прибежала Ольга и стала что-то взволнованно шептать Нине. Наконец, в дело вмешался Яков Яковлевич. Не говоря ни слова, взял Нину за руку, отвел в нашу с ним кабинку и запер снаружи. Вернувшись в бухгалтерию, позвал меня к себе в кабинет и тоном, не терпящим возражения, объявил:

– Спать пойдешь к Нине, а я переночую здесь, в кабинете. А сейчас за работу. Не помню, чем закончилась в тот раз эта история с Давидом, но в кабинку я не пошёл, а ночевал с Яковом Яковлевичем в санчасти. После этого наши отношения с Ниной развивались с переменным успехом.

Меня снова и снова грызли сомнения. То ревность, то подозрения в корысти. Понимал, что ей трудно и духовно и материально. Пару раз подсовывал под скатёрку на тумбочке деньги. Несколько раз оставлял продукты. Потом Оля с Ниной допытывались, кто это сделал: я или люди Калиновского и Руди. Я отнекивался, но мысль, что Нина в принципе могла воспользоваться подачкой Давида (если бы деньги и продукты подкладывал не я), выводила меня из себя, и я часто подолгу дулся на Нину и особенно на Олю, которую считал пособницей Руди.

Приближался Новый Год, и на Штабном вновь появился Давид Андреевич. В эти дни у нас с Ниной была полоса размолвок, и она, плохо себя чувствуя, не выходила из барака. Яков Яковлевич и еще несколько его ближайших друзей, ну и я, конечно, отмечали Новый Год у нас в кабинке. Среди приглашённых была недавно прибывшая этапом молодая, очень красивая и яркая евреечка,



*Кушмангорт. 1947 год.
Я, Нина и Ефимчик*



*Кушмангорт. 1947 год.
Оля, Нина и Настенька -
их подруга по лагерю*

студентка филологического факультета МГУ. Приглашая её, Яков Яковлевич, которому надоели наши с Ниной раздоры, надеялся, что мы сойдёмся на почве общих интересов к литературе. Она, как и я, была арестована за антисоветскую агитацию среди студенчества, правда, уже в послевоенные годы. Однако мне она не понравилась. Была слишком красива и ярка, слишком претенциозна. А, главное, я уже любил Нину и считал её родной.

Когда пробило двенадцать, я поднялся, чтобы сходить и поздравить её с Новым Годом. Со мной пошёл и Яков Яковлевич. И вот мы в женском бараке. На столе маленькая ёлочка и две свечки. В кабинках-шатрах мужские фигуры. В самом углу, где располагались Нина с Олей, облокотившись на верхние крестовины двух соседних вагонок, стоял Давид. Первым подошёл Яков Яковлевич, отстранил Давида, вошёл в полумрак кабинки и поцеловав Нину, поздравил её с Новым Годом. Потом настала моя очередь.

Когда я выходил из кабинки, Давид, тронув меня за плечо, тихим хриплым голосом сказал:

– Подожди, надо поговорить.

И вот мы ходим по нашему лагерному проспекту - линейке развода. Светит луна, поскрипывает снег, мороз щиплет уши. Говорит Давид, я слушаю. Его мотивы те же, что и у Ольги. Считает, что я по-настоящему не люблю Нину, позабавлюсь и брошу. А он и после освобождения будет ей верен и обеспечит безбедное существование. Много чего другого говорил он мне тогда, прося отступить от Нины и не морочить ей голову своими стихами.

У меня же в голове только одна мысль, один вопрос - спал он с Ниной или нет? К своему стыду, должен признаться, что этот вопрос я задал ему. Это низко, это не по-мужски. Но ревность делает с людьми ещё и не такое. Давид оказался благороднее меня: ушёл, не ответив на вопрос. Что оставалось думать мне? Я терялся в догадках, мучился и терзал себя разными предположениями.

Две недели пролетели в горячке годового отчёта. Двенадцатого числа Яков Яковлевич с портфелем, набитым отчётными документами, выехал в Соликамск, а тринадцатого мы с Ефимчиком, Васей Середой и Васей Шиндиным решили отметить старый Новый Год. Материальной основой встречи служила полученная Шиндиным посылка и выменянная им у одного из надзирателей бутылка вина. Уговорили придти Нину.

Однако ничего хорошего из нашей затеи не вышло. Вася Середя, наверное, желая разозлить меня, начал откровенно ухаживать за Ниной, обнимал, пытался целовать. Ефимчик, очень уважавший и жалевший Нину, да и меня тоже, начал его одёргивать. Вася Шиндин печалился, что мало вина, хотя пил, по существу, один. Я замкнулся, сосредоточившись на мысли о маме. Нина, как она потом объясняла, возмущённая поведением Васи Середы и обиженная равнодушным моим отношением к его поведению, попрощалась и ушла. Вслед за ней разошлись и остальные.

Я против обыкновения лёг рано. Потушил свет. В окошко светили сторожевые огни зоны. Было прохладно. В морозные дни кабинка быстро выстывала. Укрывшись одеялом, размышлял о случившемся. Корил себя, что не одёрнул Васю, что не задержал Нину. Ведь сегодня была такая возможность для примирения. А теперь снова придётся оправдываться.

Лёгкий, робкий стук в дверь вернул меня к действительности. Кто бы это мог быть? Ведь давно пробили отбой. Неужели Нина? Так рисковать!

Это действительно была она.

– Можно, ты ещё не спишь?

– Конечно! – воскликнул я торопливо и радостно.

Она, сняв телогрейку и не зажигая света, стала прибираться на столе.

– Брось ты эту посуду. Всё равно нет тёплой воды, чтобы её помыть.

Она послушно села, сложив на коленях руки. Я ждал обвинений, но она молчала.

– Может быть, ляжешь? – я старался произнести эту фразу как можно спокойней, как будто она ничего особого не означала.

Она легла. Легла поверх одеяла, как была, в платье. Сняла только валенки. Я рядом, под одеялом. И опять молчание.

С трудом выдавливаю из себя:

– Может быть, снимешь платье и ляжешь под одеяло, ведь холодно.

Говорю, а самого трясёт, и сердце падает в бездну. Хорошо, что в кабинке темно и Нина не видит моего лица.

Спокойно и всё так же не проронив ни слова, поднялась и стала стягивать платье. Стягивала как-то обыденно, по-домашнему, как будто мы вместе уже сотни лет. Заела застёжка на спине. Я стал ей торопливо помогать, и пальцы мои дрожали. И вот, наконец, она по-настоящему рядом. В одном только нижнем белье. Прижалась и заплакала.

Утром в бухгалтерии я передал ей записку с четверостишием:

Тихонько постучав вначале,
Ты в жизнь мою теперь вошла,
И в душу, полную смятенья,
Тепло и радость принесла.

С тех пор, на протяжении более сорока лет, мы с ней отмечаем Новый Год по старому стилю как день нашей свадьбы.